

Мамин вопрос

Примерно в 1936 году (а может быть, уже начинался 1937-й) мама вдруг спросила меня: «Гришенька, неужели это социализм? Ради этого люди шли на каторгу, на виселицу?»

Я высокомерно ответил (только недавно выучил, сдал, получил «отлично»): «Конечно! У нас ведь общественная собственность на средства производства».

И в тот же миг точка в середине груди сказала мне: «Ложь!» Конечно, не словами, но совершенно ясным, бесспорным ощущением лжи. Любопытная это точка, ровно посередине груди. В Индии ее называют чакрой сердца.

С тех пор прошло более пятидесяти лет, и чакра много раз откликнулась во мне (то чувством истины, то чувством фальши). Я убедился, что дважды два четыре или дважды два пять – это ей все равно. И если сказать, что коровы летают, – тоже все равно. Чакра откликается только на сердечную истину и ложь. И тогда, в 1936 году, чакра сказала мне, что социализм – слово, имеющее сердечный смысл, а определение, которое я выучил, этого смысла не передает.

Я стал думать и додумался, года через два или три, до ереси: «У нас нет никакого социализма: рабочим и крестьянам живется хуже, чем в 1927 году». Эту фразу за мной записали, она легла в папку с надписью «Хранить вечно», и в 1949-м (то есть лет через десять) мне ее припомнили и дали за нее (и за несколько других подобных фраз) что тогда полагалось. Предоставив мне несколько лет для дальнейших размышлений о социализме.

Если перевести мою отрицательную оценку в положительный план, то социализм – это общество, где рабочим и крестьянам хорошо жить. Не очень хитро и, пожалуй, наивно, – поморщатся схоласты; но чакра помалкивала. Во всяком случае, лжи здесь не было. А в логически четком определении какая-то ложь была. Потому что в жестком однозначном определении качество человеческой жизни совершенно вынесено за скобки. И Сталин со своей железной логикой сознательно вынес все это человеческое, сердечное за скобки, сразу лишив аргументов своих противников, не согласных с его планом строительства социализма в одной, отдельно взятой стране.

Когда в 20-е годы шли об этом споры, Карл Радек называл сталинскую идею нелепой, щедринской и предлагал, если на это пошло, строить социализм в одной губернии, в одном уезде (как в Чевенгуре). Сегодня Радек назвал бы построение социализма в одной стране чевенгурской идеей.

Основа социализма – общественная собственность. Троцкисты это хорошо усвоили. Но они не соглашались, что государственная собственность есть общественная собственность и к этому все сводится. Социализм с армией, полицией, разведкой и контрразведкой, с тюрьмами и лагерями казался им издевательством над здравым смыслом, сапогами всмятку. Еретики сомневались не в возможности индустриализации, а совершенно в другом. Пожалуй, они и не сомневались, а были совершенно уверены, что общество с тюрьмами, – не социализм. Бесклассовое общество – значит конец классовой борьбе. В классовом обществе можно завинчивать и завинчивать гайки. Но еретики не считали такое общество социалистическим. О социализме у них были романтические представления. Например, Троцкий считал, что средний человек при социализме достигнет уровня Гете и Аристотеля. Это звучит странно, но вряд ли больше, чем слова Ленина, что при социализме из золота будут делать общественные уборные. В таких гиперболах жило убеждение, что революция даст качество жизни на порядок лучшее, чем прежде. Иначе к чему все жертвы? И когда Белов называет Сталина троцкистом, он

неправ. Ленин и Троцкий гораздо ближе друг к другу чем любой из них к Сталину.

Можно возразить, что отказ от романтических гипербола был исторически неизбежен. Но отказываться можно по-разному. Колумб тоже был романтик. Задача, которую он себе поставил, – приплыть в Индию с Запада – была для его времени фантастической. Однако по дороге он открыл Америку. Романтика, утопия вдохновляет в путь, а по дороге люди открывают что-то реальное. Один – Антильские острова, другой – архипелаг ГУЛАГ. Многие революции по пути в воображаемую Индию открывали реальную Америку (например, правовой порядок взамен королевского произвола). У нас эти возможности открывал нэп. А Сталин с нэпом покончил и загнал страну в тупик угрюм-бурчеевской системы.

Во время лагерных дискуссий и позже (разговаривая с молодежью, выросшей в эпоху застоя) я сталкивался с убеждением, что ничего другого и не могло получиться, что идеалы революционеров – самообман, рационализация либидо (похоти власти), что умные революционеры хотели абсолютной власти и добились ее, а глупых расстреляли. Эта точка зрения хорошо укоренена в психоанализе (все высокие мотивы редуцируются, сводятся к низшим). Я придерживаюсь другой теории, изложенной Достоевским в романе «Идиот». Поручик Келлер, собираясь исповедоваться князю Мышкину и обливаясь слезами, вдруг подумал, а не попросить ли после исповеди 150 рублей займа? Он признается Мышкину в своей «двойной мысли» и спрашивает, не подлость ли она? Мышкин не соглашается, просто одна мысль с другой сошлись. Больше того, Мышкин говорит, что и у него так бывает, то есть не совсем... Князь не договаривает, но можно понять, что благородный, бескорыстный порыв редко обходится без того, чтобы к нему что-то не прилепилось. Этот разговор комментирует другая теория, изложенная Митей в исповеди своему брату Алеше. В каждой душе борются Бог и Дьявол, сталкиваются идеал Мадонны с идеалом содомским. Совершенное господство мрака, как у Смердякова (и у Сталина), – очень редкий, крайний случай. Даже у Лебедева, даже у Келлера остается в душе что-то святое. Высшее не сводится к низшему. Высшее и низшее, свет и мрак – в постоянной борьбе.

С этой точки зрения (от которой, правда, сам Достоевский отступал, когда его захлестывала полемика) нелепо ставить революционеров ниже Лебедева и Келлера (1). У самых больших честолюбцев, у самых прожженных циников оставалось святое слово «социализм». И они боролись за то, чтобы относиться к идеалам серьезно и честно пытаться осуществить их, а не подменять чем-то доступным, сохраняя прежнее название.

Поэтому все революционеры-большевики оказались в оппозиции Сталину. Одни раньше (Троцкий). Другие – позже (Зиновьев). Третьи – еще позже (Бухарин). Четвертые – совсем поздно (Киров, Орджоникидзе). Все, для кого слово «социализм» сохраняло сердечный смысл, погибли, пытаясь сопротивляться Сталину.

Когда стали писать через черточку: «троцкистско-бухаринские» (мерзавцы, убийцы, шпионы), то в этом написании, в этом сведении всех идейно разных позиций в одну была своя (нравственная) правда. Троцкисты были фанатичнее, бухаринцы трезвее. Но у тех и у других были принципы. А фанатизм – это отчасти дело возраста. В 1918 году Бухарин был самый отчаянный фанатик чистоты идеи коммунизма. Троцкий тогда занимал более умеренную позицию: он был старше, опытнее. Бухарин писал, что в случае подписания похабного Брестского мира советская власть приобретет чисто формальный характер, иначе говоря, советская власть потеряла бы для него свой сердечный смысл. Ленин этим возмущался и практически был прав: политика невозможна без компромиссов. Но Бухарин благородно ошибался: он чувствовал, что ряд компромиссов с обстоятельствами может совершенно лишить идею ее смысла... В известной перспективе это тоже оказалось верно. Потом роли переменялись: Бухарин стал защищать союз с зажиточным крестьянством, а троцкисты (среди которых было очень много молодежи) возмущались отходом от чистоты идеи. И еще одним, по-

моему, гораздо более важным обстоятельством они возмущались: становлением аппарата, ростом влияния «аппаратчиков», проводивших политику Политбюро, не считаясь с партией в целом.

В 1949-50 годах я оказался в обществе двух или трех десятков старых революционеров, отбывших срок в лагерях, вышедших на свободу и заново арестованных, чтобы не засорять Москву чуждыми элементами. Их называли повторниками. Это были эсеры, анархисты, один сионист и один дашнак. Пройдя сквозь огонь и воду, они сохранили свои убеждения; в этом было какое-то нравственное обаяние, обаяние чистоты. Они резко отличались от других арестантов, попавших на Малую Лубянку безо всяких убеждений. И позже, познакомившись с героиней бакинского большевистского подполья, Ольгой Григорьевной Шатуновской, я чувствовал в ней то же обаяние. Можно и нужно критиковать революционеров за то, что они слишком много себе позволили, но позволили они это себе не ради спецснабжения. Если они ошибались, то от нетерпения сердца. И это для меня важнее различия партий и фракций.

Я был потрясен, читая рютинское обращение к партии. Этот политический документ, написанный «интеллигентным пролетарием», без всяких художественных измерений, обладает достоинством классической литературы. Каждая строка рвется из сердца человека, которому отчаяние дало огромную силу Слова. Но центральный тезис Рютина взят у Троцкого:

«Партийный аппарат в ходе развития внутрипартийной борьбы и отсекающей одной руководящей группы за другой вырос в самодовлеющую силу, стоящую над партией и господствующую над ней, насилующую ее сознание и волю» (ЛГ, 1988, № 26, с. 13).

Если бы мне показали этот текст без подписи, спросили, кто автор, – я без колебания ответил бы – Троцкий. Инвективы против аппаратчиков занимали центральное место в пропаганде троцкизма. Мальчиком лет десяти я уже знал шуточную поэму, где Троцкий говорил языком Курбского, а ему молча внимают «аппаратчиков ряд». Остальное я за шестьдесят лет забыл, но это помню твердо. «Аппаратчики» – слово Троцкого.

Почему Бухарин, Рыков, Томский (и, наверное, Рютин) поддерживали аппаратчиков? Почему они голосовали «за», когда коммунистов, отстаивающих свое право на собственное мнение, на идейное и моральное неподчинение большинству, сажали в политизоляторы? И спохватились только тогда, когда аппарат, послушный Сталину, повернул на 180 градусов и стал проводить такую авантюристическую, такую антинародную политику, сравнительно с которой планы троцкистов были детским лепетом...

В 1932 году было уже поздно. Сталина можно было остановить в 1924 году, выполнив завещание Ленина. Труднее, но можно было и в 1927 году, защитив право троцкистов и зиновьевцев отстаивать свои взгляды. При сохранении внутрипартийной демократии риск временной победы троцкизма был не так уж велик. Один съезд принял бы программу наступления на кулака, другой отменил бы ее (так, как было с трудовыми армиями). Сохранение порядка, при котором можно критиковать ошибки, важнее, чем любое отдельное решение, правильное или нет. В 1932 году этого порядка уже не было. Оставалось только сесть в политизолятор вместе с нераскаившимися троцкистами (если бы я был Шатровым, непременно написал бы сцену встречи Рютина с Раковским).

Вокруг Троцкого и троцкизма создан такой туман, что реальность почти невозможно разглядеть. И первый шаг к реальности – разделить эти два явления, Троцкого и троцкизм. Насколько я могу судить, до 1923 года троцкизма не было. Был Троцкий, записной оратор в первом Совете рабочих депутатов (1905); был Троцкий, пытавшийся всех со всеми примирить и сталкивавшийся на этом с Лениным, настойчиво сбивавшим особую большевистскую партию. Был Троцкий 1917—1922 годов – кумир матросских митингов, организатор побед Красной

Армии, зажимщик, расстрельщик, норовивший завинтить гайки и перетряхнуть профсоюзы с песочком. Но и этот Троцкий еще не был троцкистом. Его расхождения с Лениным были чисто тактическими и быстро снимались. Накануне Кронштадтского мятежа Ленин поддержал резолюцию Троцкого о трудовых армиях. После Кронштадтского мятежа Троцкий поддержал ленинский план нэпа. И то, что Троцкий в 1920 году писал о диктатуре пролетариата, мог бы написать Ленин (2).

Троцкизм начался с тени, подозрения. Ленин смертельно заболел и Политбюро испугалось тени нового вождя. Троцкий еще не начинал борьбы за первенство (он, по-видимому, считал, что оно достанется ему без всякой борьбы). А Зиновьев, Каменев, Бухарин, Рыков, Томский испугались тени личной диктатуры и бросились в объятия Сталина, чтобы не допустить ее. В 1926 году, когда Зиновьев остался в дураках, он рассказал Троцкому, как было дело. Политбюро собиралось у постели Троцкого (он тоже болел: простыл на охоте), но в тайне все решения принимались заранее, и Троцкий никогда не мог настоять на своем. Вот тогда он и стал троцкистом. Тогда возник троцкизм – парадоксальное переплетение борьбы за внутрипартийную демократию, за чистоту идеи социализма, за агрессивную политику в деревне – и, наконец, за личную харизму Троцкого, «вождя мирового пролетариата» (для сторонников Троцкого этот титул стал почти обязательным, вроде «величайшего гения всех времен и народов»).

Задним числом кажется, что какой-то злой дух нарочно помутил зрение Зиновьева, Каменева, Бухарина, что он вел их за собой, как рок вел Эдипа, и чем стремительнее Эдип бежал от отцеубийства, тем неотвратимее свершалась его судьба. Тут мерещится уже не шатровская драма, а шекспировские три ведьмы или разгневанные боги.

Что-то здесь навсегда останется тайной. Но один уголок тайны бросается в глаза; и достаточно раз указать на него, чтобы увидеть. Потому что мы все это знаем, только не вдумывались:

Партия и Ленин —
близнецы-братья, —

кто более матери-истории ценен?

Мы говорим – Ленин,
подразумеваем – партия,

мы говорим – партия,
подразумеваем – Ленин.

Большевики – ленинцы. И это их отличает от всех других партий. Меньшевики – не мартовцы, не плехановцы. Они сами по себе. И эсеры – каждый сам по себе. У Марии Спиридоновой было огромное нравственное обаяние (мне рассказывал об этом старый рабочий, повидавший ее в Бутырках, в 1905-1906 годах); однако эсеры никогда не были спиридоновцами или, допустим, Черновцами. Большевики были партией, имевшей бесспорного вождя. И когда бесспорный вождь был разбит параличом, возник вопрос, которого в партии другого типа просто не было бы: кто станет следующим бесспорным вождем.

Началась борьба двух харизм: харизмы митинговых ораторов (Троцкий, Зиновьев) и должностной харизмы, создаваемой послушным и гибким аппаратом. Революция приучила к мысли, что вождь – непременно хороший оратор, непосредственно, лично способный завоевать себе поддержку. Поэтому Сталина (очень плохого оратора) никто не боялся. Он мог шаг за

шагом укреплять свою власть, власть аппарата.

В ходе этого процесса демагоги, теряя власть, становились защитниками демократии.

Первым актом троцкизма была платформа демократического централизма, с решительным упором на первое слово – на демократию.

Трагедия внутрипартийной борьбы 20-х годов была в том, что люди, остро почувствовали необходимость демократии, защиты прав отдельного коммуниста, недостаточно чувствовали деревню и смотрели на нее только как на резерв, на материал для строительства социализма. А те, кто были ближе к народу, легко соглашались жертвовать правами личности. Этот раскол вряд ли изжит и сегодня. Разве наши писатели, вышедшие из деревни, – борцы за права человека? И разве диссиденты близки к мужику? В каждую эпоху России это противоречие выступает по-новому...

Добро и зло не просто разделились. Если считать главным экономическую политику, то бухаринцы – герои, троцкисты – злодеи. А если – сохранение и развитие демократии, хоть в рамках партии, то героями были левые. Каменев даже стоял за многопартийную демократию. Об этом мне говорил Якубович (3).

В 1925 году Троцкий спросил Бухарина: «Почему у нас в партии нет демократии?» Бухарин ответил: «Потому что мы вас боимся (цитирую наизусть по книге Троцкого «Моя жизнь», которую мне удалось когда-то достать на французском языке). Сворачивались последние остатки демократии, а Бухарин пошучивал: «У нас могут быть только две партии: одна у власти, другая за решеткой». Он не был циничнее других. Он был просто откровенней.

Троцкисты и бухаринцы исходили из одной и той же морали. Из ленинской морали: нравственно то, что полезно революции.

А если прикажет солгать, — солги. И если прикажет убить, – убей.

Историк обязан понять, что в этих стихах Багрицкого – мораль, а не просто-напросто аморализм. Мораль революции: «За нее на крест, и пулею чешите...» Ради революции не щадили ни жизни, ни совести (4). Но троцкисты и бухаринцы расходились в понимании того, что полезно для революции, и поэтому были непримиримыми врагами. А Сталин мог блокировать и с теми, и с другими. Ему плевать было на пользу революции или социализма и на всякую мораль тоже плевать. В совершенной безыдейности и абсолютном аморализме – один из источников его силы.

В 1908 году Степан Шаумян был арестован на квартире, о которой знал только Сталин. С тех пор он считал Кобу провокатором. Я не удивлюсь, если это окажется правдой. Но дело не в том, получал ли Коба деньги от охранки или работал на самого себя. Важно, каким был весь стиль его деятельности (сейчас это совершенно ясно). Как все провокаторы, он умел быть и в потоке революционных идей и дел, и как бы со стороны, на берегу. Он владел языком революции, не веря ни во что, и пользовался то одной, то другой идеей, смотря что выгоднее. Он видел своих товарищей с изнанки, со стороны их слабостей, и ловко стравливал Зиновьева с Троцким, Каменева с Рыковым. Он организовал убийство Кирова и расстреливал за это остальных своих соперников. Какой Азеф, какой Малиновский мог сделать больше? Сталин был величайший провокатор всех времен и народов. У него нет соперников.

Почему чакра не подсказала Бухарину, что блок со Сталиным человечески немислим, что «с ним коммунизм не построишь»?

На очной ставке, когда Айхенвальд подтверждал свои, вырванные под пыткой, показания, Бухарин сперва поморщился, а потом махнул рукой и сказал своему ученику: «Не думайте и не пишите о политике, об экономике. Думайте и пишите о человеке». Айхенвальд рассказал об этом Бергеру, основателю компартий Палестины, Сирии, Ливана и, кажется, Египта. Бергер, после двух смертных приговоров как-то уцелел, уехал в Израиль и пересказал замечательный разговор в своей книге «Крушение поколения». Слишком поздно, на пороге смерти, Бухарин понял то, что человек важнее экономики. В 1924, в 1927 году он еще считал, что политика и экономика важнее.

Бухарин и Рыков хотели улучшить положение рабочих и крестьян, насколько это было возможно, и не жертвовать сегодняшним днем ради завтрашнего, даже социалистического. Не думаю, чтобы им нравился Сталин. Но Сталин притворялся, что он искренний сторонник их политики и ради нее пустил против оппозиции механизм репрессий. Совесть покорила логику. Если можно сажать в политизоляторы социалистов другого исповедания – меньшевиков и эсеров, то почему нельзя сажать троцкистов? Так было ликвидировано право меньшинства отстаивать свои убеждения. Так были подготовлены процессы «троцкистско-бухаринских мерзавцев». И никто больше не смел сомневаться, что социализм в одной стране построен: государственная собственность – это высшая форма общественной собственности. Государственная собственность у нас безраздельно господствует. Следовательно...

Никаких уборных из золота. И в обычную уборную не войдешь: каплет со стен, с потолка... Грязь, вонь, теснота коммуналок, грубое неравенство – и на всем этом вывеска: «Социализм». Социализм без мыслящей головы. Никто не смел заметить подлог: государственная собственность приравнена к общественной собственности, хотя и Энгельс, и Ленин объясняли, что национализация – это еще не социализм.

Если социализм означает безраздельное господство государства, то прав Шафаревич: все случаи тотальной государственной собственности, начиная с династии Ура, кончались кризисом и гибелью. Если верно сталинское определение социализма, то Шафаревич тоже прав: социализм – воля к смерти.

Эта идея, высказанная в статье «Социализм как явление мировой истории» (Париж, 1977 г.) попала в советскую печать как цитата в ответе Р.А. Медведева на письмо И. Р. Шафаревича (то и другое в «Московских новостях» за 12 июня 1988 года). Мне показалось, что ответ Роя Александровича не снял по существу вопроса о глубинных корнях сталинизма, поставленного Шафаревичем.

У меня нет никаких оснований заступаться за И.Р.Шафаревича. Это мой идейный противник. Самый метод его мысли мне глубоко чужд, Шафаревич обращается с текучими амбивалентными понятиями гуманитарной сферы, как с треугольниками и квадратами; и если где заметил черноту, то с железной логикой доказывает, что черное только черно и никакой белизны в нем нет. Никакой попытки понять духовную суть того, что невзлюбил...

И все же, какие причины сыграли свою роковую роль? Я не берусь в нескольких строках распутать весь этот клубок, но каждый раз, когда от меня требуют ответа, я вспоминаю Достоевского: тот, кто сказал «все позволено», – теоретик. Он убивать не умеет. Убивает Смердяков, убивает Федька Каторжный. И в конце концов практик вседозволенности отшвыривает теоретиков в сторону и пускает их в расход.

Опыт революции показал, что абсолютная цель остается в воображении, а средства входят в жизнь. Что на большой дистанции правым оказался Лев Толстой: дурные средства пожирают любую цель.

По словам Георга (Дьердя) Лукача, Сталин продолжил в бесконечность методы, уместные и оправданные в годы гражданской войны. Это психологически верно, – верно описывает психологию большевиков-сталинцев. Но с более глубокой точки зрения, это только полуправда. Сталин довел до предела то, против чего протестовал Горький, Короленко, Роза Люксембург и многие, многие другие. Они оказались правы. Политика расказачивания, расстрелы заложников были трагическими ошибками Ленина и большевиков. На этих ошибках вырос Сталин.

Сказанное не снимает огромной нравственной разницы между трагической ошибкой революционера и мерзостью провокатора и садиста. Я решительно против того, чтобы писать «Ленин – Сталин» через черточку. Но совершенно оторвать Сталина от истории большевизма тоже нельзя. И если эта связь не будет исследована трезвым разумом, то мы отдаем дело на откуп маньякам и провокаторам.

Жизненно важный вопрос не в том, как правильно назвать тупик тотальной государственной собственности, а как из него выбраться. Никакой формулы социализма нет. Социализм – не гомункулус, вылезший из колбы. Это исторический процесс, ряд проектов и попыток, предпринятых в разных странах, разными партиями, попыток несовершенных, требующих постоянных поправок, но неистребимых; это совокупность проектов и попыток исправить зло, принесенное капитализмом; и хотя некоторые попытки оказались лекарством, которое хуже самой болезни, и приходится прежде всего освободить пациента от вредных лекарств, — здоровым от такого освобождения он не делается. И люди ищут новые медикаменты и процедуры, находят какие-то новые смеси общественной организованности и частной инициативы. Скорее всего, именно в таких смесях оптимум развития. Таким оптимумом для 1922 года был нэп. И сейчас, если хватит сил и ума, есть шанс вернуться к чему-то вроде нэпа и заново начать развитие, которое можно будет назвать социалистическим. Хотя нет ничего страшного, если сердечный смысл слова «социализм» будет выражен каким-то другим словом.

Как розу ни назови, она одинаково хорошо пахнет. Можно вспомнить, что Стравинский обижался, когда американцы называли его музыкальным революционером, но характер его музыки от этого не менялся. Главное – не в словах, а в действительности, в действительном внутреннем скачке, в освобождении от лжи и грязи прошедших лет. Притча Абуладзе сошла с экранов, но перед нашим духовным взором все время остается задача, поставленная фильмом: как найти дорогу к Храму, к «царствию, которое внутри нас», к освобождению творческих сил, заложенных в человеке.

Примечания:

1. Образы революционеров у Достоевского – это Раскольников и Иван Карамазов, а Верховенский и Лямшин – образы провокаторов.
2. См. Круглый стол в «Искусстве кино», 1988, № 6.
3. Старый социал-демократ, с 1917 года – большевик, в 1930 году вынужденный играть роль меньшевика на процессе меньшевистского центра, получивший 10 лет и благодаря этому уцелевший: 1937 год он пересидел, всеми забытый, в лагере. Разговор его с Каменевым относится к 1928 году.
4. В каких-то воспоминаниях – может быть, Татищева – я прочел о коммунисте, которого красноармейцы подозревали в измене. Рассеять эти слухи было невозможно. И человек убедил товарищей, не веривших слухам, что его, ради успокоения массы, надо судить и расстрелять. Так и было сделано.